

ЧЕРНАВИН И. Г.

НЕОБЪЕКТИВНОСТЬ



Игорь Чернавин
Необъективность

«Издательские решения»

Чернавин И. Г.

Необъективность / И. Г. Чернавин — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-859622-3

Сюжет этой книги — две линии пути внутри себя (2000—2016 и 1977—1985): Ч. 1 предполагает через проживание текста читателем формирование у него альтернативного взгляда на повседневность и её реальность, а Ч. 2 даёт возможность понять эмоциональную обоснованность предшествующего ухода в невовлечённость и асоциальность.

ISBN 978-5-44-859622-3

© Чернавин И. Г.
© Издательские решения

Содержание

Часть 1 Вход в параллельность (2000—2019)	6
1. Про маргышонка	6
2. В калейдоскопе	8
3. Матрёшки	11
4. От А* до Я	13
5. Их город	30
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Необъективность

Игорь Георгиевич Чернавин

© Игорь Георгиевич Чернавин, 2019

ISBN 978-5-4485-9622-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

О книге

Сюжет этой книги – две линии пути «внутри себя» (2000—2019 и 1977—1985): Ч.1 предполагает через проживание текста читателем формирование у него альтернативного взгляда на повседневность и её реальность, а Ч.2 даёт возможность понять эмоциональную обоснованность предшествующего ухода в невовлечённость и асоциальность.

Об авторе

Игорь Чернавин, г. Санкт-Петербург. Родился в 1957 г. В 1975—1985 годах был глубоко погружён в литературу (особенно США). С 1982 г. геофизик и кастанедовец. Писать начал в 1976 г. после рассказа Ирвинга Шоу «Солнечные берега реки Леты» – решил, что и я так могу. Потом хотелось и за Камю «погоняться», и/или, как-то, прорвать этот холст..., наконец сделать, хотя бы, чтоб было похоже на правду и были признаки смысла.



Часть 1 Вход в параллельность (2000—2019)

1. Про мартышонка

«Вечер, поезд, огоньки, дальняя дорога...». Меня немножко штормило, я думал от чувств – как хорошо я справляюсь с вдруг навалившимся горем. Поезд стоял полминуты – только я влез, и поехал. Забросив сумку на полку, я ушёл в тамбур курить – было так горько, что я онемел, в оцепенении смотрел, как разбивают всё внутри меня, крутятся мутные пятна. Тоска душила за горло, и, чтобы не умереть, оставалось вскрыть грудь, раздвинуть мышцы и ребра. Я понимал – экзальтация, и я стоял, глядя, как очень большой водопад – падает, падает в воду. Но легче не становилось. Вагон порою скакал, как лошадка, кидал меня на металл ржаво-красной стены, и приходилось, как в матросском танце, перебирать хаотично ногами. «Дай ка, братец, мне трески и водочки немного». Спать тебе нужно, лечь, скорчиться, спать – «водочку» не заслужили. И я пошёл через тёмный вонючий вагон к себе на верхнюю полку – не было сил брать постель, не было сил раздеваться. Влажную куртку под голову, и отрубился. Когда проснулся, был день, когда второй раз проснулся, то – ночь, сходил, скурил сигарету. Лицо обвисло и ныло, как и всё внутри, и – жить-начхать, всё всегда было бредом – только б обратно на полку. Днём меня вдруг растолкал проводник, а просыпаться я так не хотел – что-то большое плыло, надвигалось, и было ясно – там горя не будет. – Ты ещё жив? Встать-то можешь? – Да, да, наверное, встану, а что случилось? – Вот встань, посмотрим. – Я слез, всё плыло, даже глаза было трудно настроить, страшно мутило, и ноги дрожали. – Опа, а что-то не так, как будто я отравился. Лучше мне лёжа. – «Басан-басан-басана, басаната-басаната, лезут в поезд из окна бесенята, бесенята.» – Ну наконец-то допелся куплет, очень уж долго он пелся. Но ни кто не лез, а темнота, да, была, серая мягкая вата, хотя, конечно, живая. Потом на станции где-то был врач, а ночью – Харьков, носилки к вагону, большая шумная площадь, тряска, приёмный покой, и – на стол, «...резать».

– Тебе ещё повезло, к нам профессор зашёл, к ученику, и он тебя оперировать будет. – Я обернулся, но женщина уже ушла, вскоре пришёл, весь шустрый, мужик и начал резать – не больно. Через час сделалось скучно, «А за соседним столом компания...» – кого-то резали сложно. Наркоз был местный, и на третий час он стал уже отходить, тупая боль ноем ныла, но я заметил одну медсестру, что в миниюбке, туда и сюда, без конца бегала мимо – а стол-то низкий. Видимо я прокололся, и врач заметил, как я верчу головой, он подозвал её – Пстой-ка тут. – Так и зашили, почти без наркоза. Кругом всё белое, гладко-блестящее было, и много-много слепящего света. А отвезли на каталке – «Нет, я не понял...», темно... – Ты лежи, милый тут, там палата ещё не готова. – Из полумрака сказала старушка, и растворилась в нём за поворотом. Вскоре глаза понемногу привыкли – арочный очень большой коридор, из его сводчатых окон шёл ночной давящий свет, перемежаемый тенями листьев. Рядом, стояли каталки, только, похоже, пустые. Меня бил сильный озноб, ведь под одной простыней – холодно, невероятно, да и наркоз отошёл до конца – адская боль во всём теле. Час ли прошёл, я не знаю, когда заметил – я здесь не один, а под стеной на полу, придвинув ноги к лицу, сидит в тени мартышонок. Маленький, в два кулака – сидит и смотрит. Детские глаза, большие, на чуть-чуть сморщенном сером лице глядят печально и мягко. Серая шкурка пушисто сливается с тенью, он не шевелится, просто всё видит. И я смотрю на него повернувшись, боюсь спугнуть, тоже замер. Чернота сверху, повсюду, нависла, хочет пройти между нами, если я вдруг отвлекусь, и она здесь пройдёт – то потеряю его, потом уже и не сыщешь. Время идёт очень долго. Озноб колотит всё тело и отдаётся, особенно, в швах, но и ему не хочу я позволить отвести мои глаза. Я начинаю уже понимать, что видят эти глаза – совсем не так и не то, что я

знаю. Тело моё для него слишком бело и сухо, ему смотреть на него неприятно, а важно то, что во мне – как будто мягкая жидкость. И не просто важно – ради неё он приходит сюда, если он будет хорошим и чистым, то эта жидкость к нему перейдёт, перетечёт в эти добрые очень большие глаза – она сама себе знает, где лучше. И что-то перетекает. Я становлюсь суше, глуше. Только в какой-то момент я поплыл, то есть меня понесло над бледно-кремовым морем – вперёд и вправо.

Очнулся я уже в палате, когда меня выгружали с каталки – озноб бил совсем свирепо, боль в животе выжимала мне мозг. Я попросил, чтоб накрыли вторым одеялом. А мартышонок совсем не исчез – я научился уже ощущать, что он поблизости, даже не видя. И я ещё у него научился – осознавать эту мягкую жидкость в других и ценить только её, через неё быть единым со всеми, жить вместе с ними их жизнью. Ну и спасибо за это ему, но и меня подоил он неплохо – и через множество лет полнота чувств не до конца возвратилась – тупо всё и схематично. И лишь недавно я вспомнил его и глаза (они всем верят), и мы смотрели друг в друга, и ко мне что-то вернулось.

Когда проснулся, был день, всё болело, дрожь хоть прошла, но, всё равно, было зябко, сил ни на что не осталось. Когда с трудом повернулся на бок, то увидел – рядом лежит худой «синенький» парень – Ты с операции тоже? – Да, нас там резали вместе. Вот, мандарины мне мать принесла – бери, пожалуйста, сколько захочешь. – Приподнял голову – глянул, странный оранжевый цвет от шершавых шаров на его тумбочке рядом, как молотком, стукнул зренье. – Позже, спасибо. – Я вновь отключился. Снова открыл глаза уже под вечер – нянечка меня трясла. – На ка, вот выпей таблетки. – А где тот парень с соседней кровати? – Перевели его... – И она вдруг отвернулась. – Ешь, вот его мандарины остались. – Положив их на мою тумбочку рядом, не обернувшись, она вдруг ушла, а я опять провалился.

...Как-то, возможно назавтра, или в какие-то ещё лежачие дни я вдруг услышал смешной разговор – на койке парня теперь был мужчина – поверх меня он рассказывал дядьке. – ...Идём мы раз по Клочковской, он и говорит – «Смотри, Валера Леонтьев! Ну а давай дадим ему...» – Ну мы и дали. Он где-то здесь потом тоже, возможно, лежал, может быть в этой палате.

...А как-то ночью проснулся от громкого голоса, кто-то ходил, говорил. – Ну вот же, вот – мой Камаз, под окном, я его двигатель знаю! Надо идти, он – за мною. – Глаза обвыклись с густой темнотой, и я почти различал, как кто-то мечется из угла в угол – пойдёт к окну, долго машет руками – лишь силуэт черноты на чуть сереющем фоне. – Что с ним? – Спросил я у дядьки, спать он не мог, очевидно. – Белочка после наркоза, бывает. – На койке не шелохнулись.

Время шло в трёх скоростях (как будто в разных пространствах): по меркам этой палаты всё тихо тянулось, по меркам жизни то было мгновенье... По меркам тех мягких глыб, что вращались в душе, как жернова, растирая сознание и убивая все чувства – время стояло, и сколько жизнью уйдёт, чтоб закончился этот процесс, и, вообще – ну а буду ли жить, было неясно тогда, как теперь – как будто вход в саму вечность, времени нет, есть паденье. Что я сейчас, а что в тамбуре – неразлично. Дорога, впрямь, стала «дальней». Боль от тех брошенных ею нечаянных слов не поддаётся наркозу – я всё попробовал, не поддаётся. И что уж тот мартышонок – фигнушка. Внутри, по-прежнему, корчит. Только душа научилась сжиматься, когда встречается с чем-то подобным, лишь с подозреньем на это – почти уходит контроль над собой – «ни чего мне здесь не нужно, только не это, не надо».

2. В калейдоскопе

(Про пржевальскость. Про речку Каргу. О представлении смыслов)

Про пржевальскость

Душа это, может быть, то, что увидел когда-то. Голубизна, почти ставшая синью, неразличимые вихри. Если прикрыть глаза, то скоро в них видишь жизнь – в них тоже есть своё дело. Днём облака здесь редки – те, что отстали, лишь еле ползут, чтоб уже ночью в траве стать росой или спуститься на камни. В очень большом – до границ с фиолетовым маревом, что поднимается до черноты, ультрамарине, пропитанном светом, им всё не важно. И пятитысячный ставший уже ледниками хребет они не видят. Там мне лет пять и плоскость мягкой воды Иссык-Куля. На само солнце смотреть здесь нельзя, но невозможно не чувствовать света. Всё было потусторонним. Возле арыков, создав воде тень, шли тополя, как шуршащие свечи. В более плотной тени от садов не было слышно ни звука, кроме другого шуршания. Улицы шли, уходили, в них по утрам даже было прохладно. Центр был наивней – на тротуарах жар просто давил – не те деревья, тень их лежала внизу островками, стены домов и асфальт, нагреваясь, лучились.

Там десять сорок утра и воскресенье, лето. Спали, наверное, все, я шёл по коридору. Там, среди тел из чужих непонятных мне снов было действительно дурно. Мои «сандали» среди другой обуви так и стояли. Упершись лбом в металл дверной ручки, я вдруг почувствовал, что меня ждут, и даже стены вокруг это знали. Шкурки мгновений из прошлого стали теперь за чертой. Я потянул за собачку и вышел – чувства усилились, стало спокойней. Всё вокруг было одной тишиной, это она говорила. Я глядел сразу вокруг – чуть-чуть иначе, чем там на Урале – синий здесь жёстче. И я присел, и смотрел на их дом, и был одним ожиданием, и я почувствовал, что здесь прохладно. Пространство, залитое белым потоком от солнца, было шагах в десяти, я просто вышел из тени. Всё небо сверху палило меня. Хоть тишина была также и здесь, но не такой прирученно-домашней. От тени дома до бесконечной песчаной горы – всё меня словно сжимало. Я огляделся – песок, голубизна, больше нет ничего, а, что звучало, шло сверху. Но подниматься пришлось очень долго, не один раз я вставал, видя, как пыльный песок под ногами меня увлекает назад, и я сползаю обратно. Были спокойствие, радость. Я даже не удивился, когда, замерев и упираясь руками в колени, вдруг, обернувшись, увидел – я уже выше домов, где-то на уровне острых вершин тополей – и между ними – зеленоватую стену воды и, к ней, дорогу и домики порта. С каждым усилием, только лишь ног, света кругом было больше. Я встретил ящерку – и она двигалась вверх, остановилась, почувствовав взгляд и, развернувшись, спустилась. Мы изучали друг друга. Солнце сжигало мне голову, спину, оно старалось меня уронить в раскалённый песок, но это было не важно. Я уже знал, что меня позвало, что тишина – отзвук неба. Я ощущал его токи – от его звона, летящего вверх от песка, до тихих светлых течений. Как меня ящерка, я вбирал всё, и становился гудящим. Что-то невидимой лёгкой рукой перемещало меня, делая всем этим небом. Глубина света слилась с глубиной темноты. Там было что-то живое, был как бы голос огромных. Он говорил, но не мне, объяснял, и где-то там мы совпали. Даже сам свет, отражённый песком, стал уже давним. Чуть-чуть не выйдя наверх на плато, я сел в песок. Всё ещё лишь начиналось – я стал совсем равнодушен, сразу мог видеть всё, что вокруг, глядя перед собою. Я был во всём, всё шептало. Всё – тень от света. Грани, углы иногда велики и, можно даже приблизиться к краю. Я там смотрю до сих пор, но мои мысли – фрагменты. Когда потом я сошёл, съехал вниз по песку, всё уже залило солнце, и было слышно вокруг: «С добрым утром». Мне стало здесь неуютно, голову слабо кружило – значит, побыть человеком.

Я – больше то, что увидел тогда. Из-за того я полюбил потом горы и цвета-звуки органа. Через то небо я вижу. Те ощущения были неясны, но в результате реальной, чем вещная данность. Там появилось какое-то качество, что потом всюду влияло по жизни. Можно построить конструкцию слов, чтобы назвать это свойство, но только проще сказать «пржевальскость».

Про речку Каргу

Да, я – вода, часть блестящей воды – как, если взглянуть с улицы на окна дома. Я был частью ручья – очень прозрачного, мелкого, перетекавшего возле травы по округлым камням – они коричневые сверху, но, если их взять и разбить, тогда стеклянно-блестящи. Я был ручьём и играл, обтекая округлые камни, возможно, я их не касался, но был очень близко от них – крутился, негромко шумел и плыл над ними, был лёгким. Даже не чувствуя их, я поднимал иногда со дна стайки песчинок, перебирал их, сгонял в облачка – и сам не знал, что же это такое. Кто-то глядел в меня сверху – я даже чувствовал смутные лица, блёклые, как голубоватое небо за ними – они были совсем не важны и оставались всего лишь тенями, которые очень легко забывались. Лица смотрели в меня, на меня, я и не спорил – играл и немного жалел их, я им показывал радость. Наверное, это родители, и рядом я, но только тело, а вокруг – покрытые дёрном, короткой травой, поляны, гладкие, перетекавшие в мягко взлетающие склоны. Повсюду – над ними и между них – голубоватое детское небо. Потом, подальше, наверное, я был рекой, и содержал в себе всё – все течения, застывшесть. А за холмами был город – разнообразие стен, углов, окон и солнечных бликов на стёклах – как будто все окна недавно промыли, а стены решили не чистить от пыли, целые реки асфальтовых улиц и тротуаров – в том жёлтом городе тоже жил свет – солнца и бледного неба, так же, как я, он был тоже весёлый. Кроме асфальта там были газоны с разлитым в них светом. Цвет стен был бледным, в согласии с сонностью неба. Углы домов переплетались. Это был город, где я становился ребёнком, и этим городом тоже. Надо мной иногда были птицы, но им было трудно подолгу кружить в бесконечно-здумчивом небе, и они иногда исчезали. Я был ручьём и, когда возвращался назад, мои детские ноги болели от дальней прогулки, однако внутри был прозрачен, перетекал через эту усталость. И всё же, ещё, я был светом и ветром над низкой травой, и, что важнее всего – небом. Был и домами, и стенами, их светло-жёлтой окраской, но и, при этом, я к ним прикасался. Город был теми камнями на дне, воздух был мною, водой, а песчинками – люди. Лицо, загорев после долгой прогулки, само ощущало улыбку.

Не удастся подолгу быть в прошлом. Опять брожу в коридорах сознания, что я ищу в самом деле. Ещё недавно я был опять на Урале, там само небо и воздух несут в себе что-то. И я был весь влит в реку, в лес – в их и мои перспективы. И даже умным там быть было мелко. Смыслы не образы, это заряд, и смысл не есть расшифровка.

О представлении смыслов

Видимо, из-за таких эпизодов я и стал мыслить иначе. То, что там было, не говорит ничего для всех обыденных целей и типов сознания – оно от глаз до затылка прошло всю голову не задержавшись, ни что ему не мешало, и только в самом пределе дало почти абстрактное знание, сформировало привычку.

...Однообразие это тропа водосвинки – завтра опять на работу, той же дорогой, в то же время, чтоб заработать убогие деньги. Разум здесь есть одинокое дело. Логика ходит по кругу. Что жив, что нет – жить-умирать можно только собой, но, когда включен в явления, сам можешь разве что думать. И никогда уже лучше не будет – ну не считать же за лучшее отпуск – восстановиться б, и то слава богу. Рядом по улице – люди и люди – осознают, идут, смотрят. Вокруг слои, разноцветные пятна. Здесь сейчас воздух прохладен, но уже ближе к Москве он теплеет, и там сейчас бабье лето. На фоне красной кирпичной стены, вперемешку – дерево, всё в ярко-жёлтом, и мрачноватые клёны, сухие листья на них, как будто трупчики парашютистов, кустики в беленьких шариках, кучи из скрюченных листьев, и листья в чёрных блестящих мешках – как жертвы в братских пакетах.

За этой красной стеной комбинат – на этажах слои душного воздуха, блеска и стука, лица усталых людей – две сотни впаянных днём в одно дело. Каждый из них по отдельности тоже пятно. И мне платили, чтоб так продолжалось. Где-то вдали есть пятно разных пятен Европы – там уже люди с погодой другие. Кругом одно, лишь меняются люди. Вокруг по Питеру – ход и толпленье, как будто празднично, но мрачновато. Но, если вслушаться в частные точки, то вроде бы ничего, звуки их даже бывают печальны. Снова слои, снова пятна. Каждый живёт в своём калейдоскопе

Я заточён в этом мире-картинке и включен в разные пятна, которые знаю. Знаю – чего не люблю, или чего бы хотелось. Но, стоит мне повернуться спиной, чуть забыть, как сразу всё покрывается дымкой. Иду по парку, сажусь покурить, на карусели напротив катаются дети – очень серьёзные, выше колена, а сверху музыка и жить-начхать – в вязком-простуженном воздухе гулко звучит что-то не очень по-детски. На белых брусках скамьи жёлтый лист, но только неинтересно читать линии его ладони.

Что-то не нравится мне их реальность, я помню-вижу извне – так поле зрения шире. Через оправу сегодня и этих кустов я смотрю перед собой в *калейдоскоп-канал смыслов*. Я прохожу ещё дальше – и разговаривать не с кем, можно оставить всего десять слов – этого хватит надолго. Я теперь просто носитель позиций – лишь опознания и отношения. Необусловленность это и есть объективность.

Сущности ясен один язык смыслов, но, как слова, они часто мешают. Разум идёт по пути представлений: если теперь оглянуться – туман и улица, и силуэты от зданий, но со своими законами в каждом, где смыслы – входы, вот только выход из них в лабиринты. Смысл, он не просто значение, роль – всё это как-то восходит в весь странный мир априорного знания.

3. Матрёшки

Ноги идут в переулок, где куст сирени усыпан цветами. В тёмно-зеркальном стекле – меня нет, только безликая личность меж очень длинных подтёков – полубезобразен, обезразличен. В каплях воды отражается лишь настоящее на настоящем. Как изменилось лицо за последние годы – стало совсем уже странным. Капли воды на стекле собираются в струи и бегут вниз – всё изменяют, пытаются смыть, только у них не выходит. Пустой парадняк – я стою так, скрестив ноги, и я курю, слушая шорох его, глядя на ставший уже сильным дождь. Высокая дверь квартиры невдалеке – вход в смутный мир, затаивший дыхание, где нищета и достоинство грязи. Как постовой возле их мавзолея, я вписан в раму проёма-коробки. Но мне не нравится цвет этой рамы – он половой, мрачно-ржавый, впрочем, и фон – удаляюще-серый, и даже место – ну что за портрет, если я справа и сбоку. Кто меня вставил, чтоб так рассмотреть – взвесь из дождя и нависшая туча. Поверх бардового мутного зданья и я смотрю на неё, но, что ей нужно – не вижу.

Я не спешу, но я занят – есть ещё то, что пульсирует в прошлом, на чём пора, но пока не сумел, наконец поставить точку, иначе мне никогда до конца не уйти и из небольшого кафе, из того утра и ноты, не перестать быть таким вот...

...Я поднимаю глаза от стола и смотрю на лицо, и я живу им. Нет бога, круче Ван-Гога – мне даже вновь начинает казаться – где-то я видел такую картину – такой портрет из мазков – ценность из истинной жизни, в этой его не бывает, только на дне в подсознании. И, лишь задумавшись, долго идя внутрь себя, можно найти его, всплыть, поднимая с собой те неизвестные в жизни потоки, выбросить через поверхность. Это лицо её из бирюзовых светящихся пятен, то отдаляется, то превращается в нечто иное, но только в чём-то всегда совпадает с реальным. Всё в ней безумно красиво, это ломает все чувства и прожигает действительность, душу. Невероятная и утончённая лепка лица не отпускает сознание. Медные чуть удлинённые очень объёмные пряди точно очерченным контуром падают от гармоничного лба, от плавных век, слабых ямок висков..., а прихотливая бабочка-губы, словно придуманы кем-то. Глаза Алисы, которая здесь заблудилась, сама создав лабиринт-паутину. Всё на лице крайне чётко, всё остальное, в сравнении с ней, слишком грубо. Даже смысл жизни перед тем лицом исчезает. Всё, что вокруг – примитивный объём, но он становится вдруг бесконечным, и остаётся лишь видеть. Здесь, как бы за звуковым барьером – там, где слова не имеют значения, тишина всё же не полная: то стук кастрюль наверху, то где-то чьи-то шаги – по-настоящему тих только я, но как раз дело в обратном – я это крик среди ваты, а пустота меня вновь не пускает. Я ещё вижу, что было недавно.

...«Я» в самом центре матрёшки. Рядом, стоит тишина, в ней только блеск. Тихо, и всё теперь тихо. Всё до неё было лёгким, пустым, что-то теперь стало важным. Вся шелуха исчезает, через меня вдруг проходит пространство. Свет убирает остатки теней, и, что казалось реальным, уходит, да про него и не помнишь, нет даже и удивления. Ты, как и всё, словно стал из стекла, больше не стало отдельного, раз всё прозрачно. Сама материя здесь растворяется, когда приходит большое – всё снова стало идеей. Чуть-чуть звучит лишь структура. Кто кого более выдумал – не разобраться – может, и я середина всего, а, может, я накопление чувства, и это мир в меня смотрит. Я даже знаю, наверное, что-нибудь скоро убьёт во мне это. Но ничего не подделать с улыбкой – к этому я не привык, как не спешить и не делать. Было когда-то здесь облачко, как бы такой самолёт – давно распалось, цветам не нужно стоять слишком долго. Я – будто был только дымом, и меня ветром размыло до фона. Я лишь сижу на гранитной ограде ступеней, у входа в метро, и я смотрю на других, как на море покоя. На дальнем плане – энергия. Воздух – ладонь с тонкой кожей. Как на листе архитектора, ещё в эскизе, по сторонам от проспекта, ряды домов – в пересветлённую даль перспективы. Всё наверху слишком лёгкое,

но только выше глаза не поднимаешь – им даже так почти больно от света. Мелкий осколок стекла на асфальте или случайный кусочек фольги всё пробивают насквозь своим блеском. Электросварка апрельского солнца, как и её отражение в луже, они весь мир расплавляют, делают зрение излишним. Если ж смотреть всем собою, кажется, словно большая фигура тихо скользит где-то рядом, выбрала здесь себе место. Есть другой вид. За ней поток: две удаляющих плоскости сверху и снизу, а между ними река до предела. И снова свет, но после этой реки, он почему-то мне кажется тёмным. Самое важное – выбрать подарок, это рецепт настоящего счастья. Я, встав, иду в «переход». После зимы, только что, даже стены, помыли из шланга, и только блеск под ногами. Я – «Грейс в огне», вся голова – куст из света, кажется, есть и такая гравюра. Как живёт тело – чуть развеивается на мне пальто, я теперь только танцующий мальчик, хочется просто пинать водосточные трубы. Я как бы падаю прямо вперёд через звонкость – от лоскута голубого в то, чем действительность, может, должна всё же быть – тоннель слепящего блеска. «Гm» есмь «апёстол» сияющей веры.

...Красота – код, открывающий дверь, и даже верхние двери на башне, куда уходят дух, разум; код оживляющий душу, и всё во мне лишь стремится наверх, и всё звенит в связи с нею. Настежь, внутри и снаружи. Я могу только смотреть, изменяясь. И она рядом, но в странном рисунке. Жизнь рассыпается, будто песочная горка. У всех своя иерархия чувства и в центре своя структура. Она безумна внутри своей цели-клише – благополучие-имидж, как бог, романтично, а мои ценности – мир-артефакт, ей это странно. Каждый рисует другого – своим отношением, и они вместе рисуют реальность. Я думал, что видел душу, а вышло – она только натурщица чувства. Мне даже чудится – её давно подменили – монстры играют роль фрейлин. Может быть это готический дух – рыжий, и острые ушки, и язычок – тоже длинный, он меня видит, не любит, но весел. Я ощущаю её «свет сознанья» и понимаю предельность структуры, но... леди – сон, и этот сон меня просто не видит. Только обломки вниманья. Чем Буратино, мне ближе был тот – там с ним в смиренной белой рубахе..., но даже плакать сейчас бесполезно – я и не умею. Всё и во мне теперь тихо, если смотреть с этой точки. И мне пора уходить, а она остаётся. Если я встану, то плоскость вокруг разбежится. Жизнь – та же фэнтэзи, нет этой грани.

Прошлое кончилось, что-то вмешалось, жизнь после многих смертей надоела. Не в первый раз получилось, когда мне было настолько светло, тогда я слишком поверил. Всё было только идеей.

4. От А* до Я

(*здесь «А» – абсурд)

1. Город. Кресло и декаданс. **Бердяш.** **2.** Залив и два Петергофа. Залив, двор и чашка, компьютер. **Поезд и Сатка.** **3.** Сумерки. **Она** **4.** Вечер. **Иструть и фреска.** Стёкла.

1. Город А я сижу за поганим ларьком у метро – тучи, рабочие тащат, кладут в землю трубы, пошел слабый дождь. Очень ритмично послышался бой барабана, будто отряд марширует – смотрю через плечо, но октябрят я не вижу. Болит колено, разбитое мной на работе. С крыши ларька льются струйки воды, падают в лужи, брызги летят мне на туфли. Ритм барабана красив, приближается – из-за угла выезжает тележка с грузом коробок – южный торговец, что толкает ее, как будто жук-скарабей, наклонился. Это ее колесо так, хромая, стучало. Ларечник носит коробки – он верит в свои помидоры, я – только в пиво, не в женщин. Если в них нет пути воображенью, их нет в моем измерении. Дождь полил сильнее, заполнил собой все пространство и покрыл лужи ковром пузырьков, направил потоки к чугунной решетчатой крышке-монете под ноги. И после суток работы я вдруг расслабился, смог отдыхать, и мне не нужно спешить, сколько бы дождь не продлился. Пиво закончилось, дождь приутих, встав, я поднял воротник на косухе, но каплет на сигарету. Вокруг спешили, мелькали куда-то идущие взгляды, даже готовность улыбки была бесполезной.

Прежде с колена стрелявший проспект, потянувшись, упал, теперь лежал мордой вниз, но все еще продолжая тянуться. Я иду, горблюсь, укрыв в кулаке сигарету. Скверно – здесь пиво намного дороже, и нет Баварии светлой. Мент в серой курточке, серых штанах, в очень смешной, серой, кепке. Дети, прошедшие мимо, верят во все, они – всё, а это так утомительно глупо. Разные ноги, шурша, а машины, рыча – движутся прямо по нервам – и тут нельзя задержаться. Пошлые здания рассеяны светом, в них смысла нет, даже в самих скелетах. Всюду от влажности легкая дымка – здесь даже мысли белёсы. Я все иду этим Невским, мимо совсем тарабарских домов – вне их вовнутрь – так все вокруг изогнулось. И, как мученье, гримаса прищуря. Что-то купить – одна радость. После дождя сразу стало теплей, и чуть парит от гранита, от плит под ногами. Как сигарета, болтая ушами, около ног пронеслась очумелая такса. Чуть мутноватая перспектива пересекающих улиц не добавляет объема – там только то же, объединилось до точки. Тусклые ширмы-фасады за бельмами окон словно бы что-то скрывают. Все здесь находится в общей витрине, и здесь ни что не случится, пока стекло не отдаст напряжения.

На Черной речке сосиски – съешь две, что толку. Стоит маршрутка, как душно. Я сую деньги соседу, и, словно в цирке, пытаюсь снять куртку, и задеваю локтем тетку справа, та агрессивно рванулась. Десять секунд неподвижности, отдых глазам, кончились, нужно опять брать на них, что напозаает. Я отвернулся к окну – *«Бомж, словно в чем-то блеклый лев, стоит, держась за стену – когда две грязные руки на желтом ослабеют, дом сразу станет безразличен. Старуха в беже вышла из торговой точки, вдоль улицы ей видно три спины. Поодаль справа выступают из-за ряда зданий, качаются зеленые деревья.»* Машина сдвинулась и развернулась, и обгоняет трамвай. Из ушей-наушников парня поодаль на всю машину разносится – *«...быц, быц»* – на удивление мерное, без *«эврибади»*. Можно представить себе, как промассирован весь его мозг, что есть такой напрягаемый ритмом коллоид. Время от времени, но неожиданно громко, играют мобильники, интеллигентно идут разговоры. Урчит мотор. Это так мило, что мне полегчало. Всё – тишина с монолизной улыбкой. Тихо свербит одинокая мысль: зрительный ряд очень плотно заполнен, так же насыщен слой знаний, но это все не о важном. Ну хоть бы часть от чего-то, что было б слабо похоже на правду.

Кресло и декаданс Чмокнув, захлопнулась дверь на маршрутке. Твердый асфальт под ногами снова толкает в подошвы. Я попадаю в запутку квартала. На силикатных кирпичиках светлой стены, на сине-красной бумажке мордочка под Дональд Дакка – публике нравится, раз выбирают. Серые плоскости, и «прямой» угол – плоскости плачут, вращая друг в друга, переплетаются в ровных ячейках – им бы найти острый угол и полутон совпадения.

Сын сейчас в школе, в квартире одна пустота. Возле окна, сидя в кресле, пью кофе, и лишь поверхности на пузырьках среди оставшейся гущи всё, даже стены напротив – всё превращают в цветное, в лазерно-алый, в зеленый. Моя знакомая капля краски на стекле рядом – ей я могу заслонить одно из окон соседнего дома. Смотрю: на белый простенок, стремящийся вверх, на зев двери в коридор. Проснулась муха от спячки, воздух прошил ее гулом. Длинно мяуча, подходит ко мне белый кот и, сев, глядит – нужно теперь его гладить.

Она и раньше уже приходила, хоть и была еще бледной – давно я стал понимать ее, Серость. Она всегда напознала в окно на меня и говорила, но тихо. Она приходит ко многим, не все идут с нею дальше. Она меня изменяла.

Что ж так душа волком воеет. Кажется, я уже сделал, что мог, что я, кому еще должен. Вокруг безликое поле эмоций. Я лишь цепляюсь за разум – реконструирую чувства.

Время идет, прежде я дорожил – и пусть идет, это чуждое время. Память – я не вхожу в нее, так как не выйти – комната черного списка – все, как и я, тоже приперты к стенам – я вижу их, галерею портретов, каждый оставил свой символ. Там, дальше, в темной реальности есть и другие, и их портреты поменьше.

Это мой дом, но только в доме раззор – что не сожрали, порушили крысы, вон они – ходят по жизни. Странность меняет обычные вещи. Все, что еще понимаю – муляж. Нет больше «похера в похеровницах». Я наклоняюсь, а стекла из серости лезут. Я смотрю сверху, как будто в карьер – в центре всего темнота, и в ней ни кто не особен. Хлопьями я опускаюсь в какую-то кашу, но и спуститься туда не могу – все стеклянисто не верит, хочется лечь и сжиматься.

Все же оно исчерпаемо, горе. Нерастворимая воздухом бледность. Вверху, в углах тени смотрят. Мир только стен. Если поймашь пчелу коробком на цветах, то будет радио, так я закрыл часть себя, одновременно – гужу здесь и слушаю сверху. Простой сценарий реальности все заскребает, как наверху у соседней собака. Не вовлечен я, давно, я только пленка поверхности глаз, и та сухая до рези.

Лжи предлагают жить ими. Я отдал им всю способность любить, ее забрали, потом доброта – ее, отняв, превратили в валюту. Моя способность к созданию иллюзий иссякла, ее теперь не хватает и на простые зацепки. Меня почти не осталось. Все здесь навязчиво «есть», мне ж это просто не нужно. Кресты на всех направленьях. То, что любил, это вымысел в прошлом. Куда иду, я не знаю. Мир распадается в бред, но за спиной создает себя снова. Как бы расслабиться, упасть в себя, лишь там действительно тихо.

Со среды и до среды различие среды. Я распрямляюсь, и я отхожу, и декаданс тоже тихо отходит. Прыснул, вошел в тихий ритм холодильник, он распечатал мою пустоту, и я опять оказался снаружи. Даже не дни, а часы по погоде различны, за полчаса туча-плоскость вдруг сделалась дымкой. Передо мною окно, где изредка вдруг пролетит выше зданий ворона. А вчера там была чайка, она смотрела, где мусорный бак, и потом долго в нем рылась. И стена дома напротив, а там балконы и рамы, и между рам обращенный вовнутрь взгляд чьих-то окон. И вдали – снова дома, в них тоже есть сероватые окна. Странно косою полосой напознала синева, в ней нет ничуть теплой краски.

В голове только потоки – я собираю все в кучу, полуматерия чувства уходит. Все, что я вижу, мне хочет внушить изначально к нему прилагавшийся смысл, я же в него совершенно не верю. И вот, давно, чтоб вспомнить их описание мира, мне нужно даже напрячься.

Жизнь, как пространство, не одномерна – в каждом моменте есть несколько жизней. Память отдельного времени не занимает, и, если есть, постоянно. Ну а пошел я... в логике памяти, несколько мест меня тянут.

Бердяуш Я спрыгнул на еле видимый ночью асфальт. Бабень-проводница вверху, забывая меня, опустила подножку, хлопнула дверь, отлучила меня от вагонного света. А я не сразу сумел стать глядящим вокруг – был в духоте пустоты, но рассмотрел – рядом темень вагонной стены и под ногами платформу. Тишина здесь была чистой, в центре себя я всегда был таким же, я замер, чувствуя, как уходил вечный шум из головы в легкий воздух. Я снова здесь, она сзади меня – ночь, и, если бы развернуться, то не спеша найдешь звезды. Я не успел, поезд, дернув, пошел, и поползли полутемные окна. Шум его тяжести все нарастал, но, зацепившись, с последним вагоном уехал. Вместо прозрачности ночи передо мной была вновь глухота, только большая, другая – тусклого света от газовых ламп около зданья вокзала. Я так хотел глубины мелких звезд, но этот свет и вокзал это – вход в мой действительный мир, где я всегда, и где детство. И я иду, став спокойным, шурюсь, чтоб свет не мешал, чтоб не запнуться о рельсы. Чувства во мне совершенно проснулись – я долго не жил. По громкой связи бессвязно сказал что-то голос, вскоре от гор пришло эхо, часть сонной фразы – «...на восьмой уральский».

За полосами путей, лязгнули мощным железом вагоны и поползли в темноту – блеск стали рельс, привидения-шпалы, так же потом я поеду, став, как состав из мгновений. Но, пока тело пружинит. Я еще даже смотрю вправо-вверх – там оно, дно черноты, и мелочь звезд, и огромность пространства. Вот и перрон. Здесь, как посол сам себя, можно быть только серьезным. Здесь, за десятками рельс, до близких гор, спит лишь большая деревня. Но это Питер, он – сбоку, здесь – узел многих путей, и здесь – реальнейший воздух.

Тишина так велика, что слышно, как чуть гудит дроссель лампы. Свет ее выбелил и сделал зримым асфальт под ней и, рядом, стену. Здесь бледно-желто-зеленый объем, но, удивительно, лишь в полушаге с платформы – черная темь, само небо. Холод его прикоснулся к щекам и зазнобил мое тело. Медленно я подхожу к арочным и циклопическим окнам – их высота больше двух этажей, нижний карниз – мне едва по колено. Там во вселенной огромного зала, и тоже в странном «дневном» освещении есть – пара пальм, воробьи и пустые ларьки, и казаки на картине над дверью – каждый из них больше двух человек, дико хохочут и пишут султану. Людей немного, но много мест ожидания. Есть и пустой постамент – вот «здесь был Ленин», желтый, покрашенный масляной краской, как будто бы в кожаном светлом костюме, и можно встать, сказав «*батенька*», вытянуть руку. Взгляд тихо бродит по этому миру, как буду я бродить через минуту – ячейки камер хранения, карта железной дороги, ни что тебе уже больше не нужно. С той стороны есть такие же окна, за ними тоже перрон, но только нет никого, впрочем, а есть ли кто здесь, ведь сам себя я не вижу Мы с ночью смотрим: я – много меньше окна, ночь – много больше, и начинаем теряться друг в друге: зал – и песчинка во тьме, и велик, ведь это зал ожидания.

Я собираю мозаику чувств, где я стою в самом деле. Пол за окном – продолжение асфальта, причем они – отражение друг друга, не в стекле-зеркале, а в том объеме – я есть и там. Мы просто смотрим, и нас разделило стекло – оно заполнено узким пространством – и мы не можем общаться. Мир у меня или там у него – я становлюсь еще третьим. И таких «эхо» вокруг бесконечность.

Я иду мимо глухого свеченья простенков – окна сменяют друг друга. Объемы чувств прошлых лет тихо находятся рядом. Я очень маленький и хочу спать, и я – большой, больше спать не хочу, то – я туда, то – оттуда. Только внизу, светло-серый асфальт, слил в один звук, и в каждом шаге его оживляет. Арка, огромная дверь и вверху циферблат, и не к чему идти дальше – ведь, как в себя, не войти, что-то во мне отзывается болью. Сколько там тех, кого помню – они меня не увидят. И я вхожу в тишину, в бесконечность, а кафель пола разносит

шаги, и все спасительно скрыто ничем – настоящим. Это, как церковь – фойе расписаний, где лишь кассирша в углу, в светлой будке. А в самом зале, где я в странном ритме иду – и тишина чуть другая, висит в высоте, давит все, видит. Я вязну в кубе большого объема. Как ритуал, нужно все же дойти до конца. Я сажусь возле окна и, глядя в пол, ощущаю сквозь брюки, как холодна ладонь сиденья.

В ряду сидений напротив, слева, «женщина» – индустриальный пейзаж и образец матриарха. «Да, я сломалась, и вас всех сломаю». Шея, вертящая головы, это болезнь Паркинсона. Есть, изредка, «тюнинговые» сестры – эти еще как-то едут... Я бы поставил ей памятник, чтоб этажей на двенадцать. Справа, напротив, там – девушка – взгляд амбразур ее глаз, тошно, в ней видно жестокость.

Боже, как холодно, но нужно высидеть, иначе мне не «уехать». Даже не жду, я сижу «нога на ногу», так чуть теплее. Память здесь тоже, но больше не мучит – да, в том углу, где ларьки, дембель играл на гитаре. Я выхожу покурить, но к уфимским путям, здесь все же памяти меньше. Гудки и шум от железа не создают сплошной фон и тоже числятся в описи места. Ветер меня леденит, хочется прыгать, как скачет ворона, но у нее хоть сукно на спине, а я промерз – весь стеклянный. Не докурив иду внутрь, где, слава богу, нет ветра. Ночь здесь большая, но тихо уходит, двигая стрелку над дверью. Я позволяю себе быть, хоть сном, ноль – чувств и мыслей. Раньше за этим ждал дом, теперь знакомые зданья, но уже воздух другой, люди... – их дети, нет меня бывшего раньше.

Нет, все же слабые мысли идут – кто-то пролил на окно молоко, и оно стало светлее. Я так хотел пройти в темноте пешеходным мостом над путями, но ночь исчезла. Одно бедро слабо греет другое. А за окном уже вовсе светло – я не пойду, нет, иду, и смотрю, как дирижер поднял руки. Ночь, как возможность иллюзий, ушла. Вокруг светло, кто-то ходит. Стена вокзала желта, тоже страдает от жесткости света. Вот и огни над платформой, над улицей гаснут – есть теперь пепел, чтоб что-то посыпать, может быть, он – облака. Они еще тяжелы, только в разрывах, как взгляд высоты, голубизна растворяет проблемы. Не только я, облака на свету оживают – края у них розовеют, быстро теплеют оранжевой краской, они плывут, они белы – я его даже не вижу, но оно быстро восходит – светило, и все становится ярким, глядит – ну ХулиО «Кортасар»? А облака в золотящемся небе, теперь уже воспаленные красным – они уходят, вернутся под вечер, когда опять опустеет. Эта оранжевость солнца, свет по краям облаков так обожгли мне глаза, что, кроме этих пластин из свеченья, я ничего и не вижу.

Дальше сидеть уже легче, и я опять в себе ожил. День же идет непонятно куда и он ведет меня тоже. Сомнамбулически ходят какие-то люди – по залу и за окном по платформе, воздух стал легким и им позволяет. Я вновь смотрю на часы – и... можно ехать. Я его ждал и не ждал – «паровоз», вот он опять появился. Пыльно-зеленый разорванный ряд его тел вдруг закрыл горизонт. Он живет быстрым движением по лесу. Только вагон, многоглазо-квадратно смотрящий насквозь – он мог бы что-то понять, но его взгляд слишком темный. Смотрю вверх него вдаль, взгляд стал почти что тоннельным, так, правда, очень легко улыбаться – кожа лица сама сходит. Я, как и дома – так же расчерчено рамами тяну в лицо, будто дышу, это утро-прохладу. Это статичная область дороги, где Перевозчик очистил карман.

2. Залив и два Петергофа А я пойду на залив загорать, и пусть лицо станет красным. Глупый квартал-тишина весь залит бледным свеченьем и плотно сжат равнодушием солнца. Два-три ребенка на голой площадке. Я шел по песку узкой дорожки, когда налетел ветер и закружил пыль рядом так, что пришлось отвернуться. За все последние годы и даже мусор, летающий с ветром, стал выражать много новых эмоций. Глухой объем-лабиринт плоскомордых домов мне напрягает затылок. Передо мной скользит тень на асфальте. Я обвожу это взглядом: кусты, залив, как-бы-небо. Еще недавно здесь было множество вербных зверьков, они «отпали». Небо, земля очень ровны. Здесь у залива хотя бы есть ветер, правда, он бледно-

синюшный. Только блеск темной рябящей воды, он здесь снимает усталость и несет к «финикам» вправо. Штрих-баржа у горизонта. Я замедляюсь, встаю закурить, тихо верчу зажигалку, клавиша вниз – сверху пламя.

Как и всегда, словно чтоб поздороваться, я дохожу до воды. Тишина и плеск волны, и слабый шорох, с которым они все бегут по песку, чтобы замедлиться, засомневаться, чтобы впитаться в песок или стать только прозрачной водой и искать пути обратно. Волны шли, шли, ветер рождал их. Завтра для них не бывает, ну а сегодня – совсем небольшие, просто спокойствие, пульс, переставая уже быть волной, они слегка поднимали, мололи песчинки, перемывали свой путь и уносили от берега пыль, ставшую мутью. Мир их не просто был вечен, это они сами создали время. Здесь в полосе метров двадцать от кромки залива, где мир песка, грелись на солнце широкие лужи не глубже трех сантиметров. К одной из них, через длинную узкую косу перетекали, могли добежать, став совсем легкими, волны. Дождь прошел недавно, и небо было пустой синевой. Солнце, казалось, в него было вставлено кем-то. Когда вода перетекала песчаную косу или вбегала по узким протокам – пересекалась с возвратною миниволной, два встречных ритма тогда создавали стоячие волны – на неглубокую воду, на темный песок под ней была словно брошена мелкая слабо дрожащая сеть из застывших изогнутых ромбов. И блеск слепящего солнца играл на этой живой замеревшей сети, рождая тысячи солнечных зайцев. Золото только застывший металл, цвет его слишком уж томный, а эта легкая слабо играющая сеть светотеней на дне и в воде была намного светлее. Может быть, если бы там был человек и, сняв обувь, не закатав даже брюк, встал бы в такое мерцание, то его тело, лицо, стали бы лицом, телом бога. Но только воздух сам мог, наклонившись, смотреть в это дрожащее море переплетенных светящихся нитей.

Солнце, если взглянуть на него, плавилось там у себя и еще прямо в глазах на ресницах. Пришлось смотреть под ноги на рыжеватый песок, ждать, пока чернота в поле зрения растает. Но и так радиация ощущалась во всем – что-то насыщавшее воздух. Светлый песок желто-сер, но только свет от него отражается белый. Я не хочу двигать в нем свои ноги, но все же нужно дойти до холма – чтобы за ним не нашел меня ветер. Места там мало, все занято – и, пропади, лягу здесь – мне лень куда-то идти, да и, к тому же, мне грустно. «И он пошел в Петродворец, потом пешком в Торжок – он догадался наконец, зачем он взял мешок» – чтоб загорать, я достаю из пакета мешок, расстилаю, сажусь – нет даже сил, чтоб раздеться. А в Петергоф я, конечно, хочу, да хоть «на катере к...» – я же не небо, всегда это видеть.

И, все же, память живет, и она хочет найти во мне место. Я замечательно помню, что было. Через фильтрацию всего сознания, кажется, что я не все тогда понял.

...На тренировках два раза в неделю, молча, вдвоем мы бежали свой кросс, и в основном в Нижний Парк – зимой, весной, под дождем или снегом, как, может быть, еще бегают звери – ровный размеренный ход – вот на краю поля зрения ели, это еще только парк НИИБи, вот появились машины – шоссе, справа уже магазинчик, скоро – слева вдали полусгнившее кладбище, где Сэм копался в могилах. Вот – эта дырка в заборе, Парк, мы бежим по дорожкам, нет никого, и весь Парк – только наш. Поодаль ящики, шедшие вверх у Большого Фонтана – в них были укрыты на зиму все золотые фигуры. Мой Монплеизир, поворот, и, как пришли, мы уходим – где бы я ни был с тех пор, я всегда часть того Парка – бег и свист ветра. Если я памятью долго смотрю, все вокруг падает не в никуда – оно становится точками Нижнего Парка, но Парк при этом немного другой – он много глубже, деревья в нем всегда по-зимнему голы, и они выше, живее – они, в самом деле, все видят, по-своему все понимают. Я будто просто иду по огромным слегка рыжеватым аллеям, но раздражаю деревья. И они даже совсем не деревья, а что-то, что, поднимаясь наверх, может все время ветвиться. А я иду, и иду, но я всегда остаюсь, лишь облака безразличны, только для них этот Парк не предел, и ни кому, кроме них, нельзя выйти оттуда...

Я смотрю на холм, на полосу серой пыли над ним. Берег не тот, как и небо – место, где волны его намочили, сделали темным песок, он ими словно бы дышит. Вот, к Петергофу, Ракета, и виден хвост ее следа. Глаза находят вдаль, как будто в сумерки, там все размыто – там Петергофская церковь.

Снова загадкой всплывает то солнце. Я был там, в Старом, недавно. По-настоящему теплый был день, то есть был вечер. Обхватив ладонью бутылку пива и навалившись локтями на черный заборчик платформы, я вспоминал все моменты, что здесь прошли, пока не понял – солнце над рельсами справа – как будто красный огонь светофора. Там было все – желтизна и чернота стен деревьев, блеск нитей рельс, будто воткнутых в лес, и было прошлое, и все надежды, смысл, что мне был отведен, но настоящим не станет, моя общага. И там большой «красный глаз» – нельзя Вперед Возвратиться. Но вот оттуда пришла электричка – своей зеленою жестью лобасто столкнула вокруг тишину, как длинный дом, заслонила «стекляху». И я вошел, даже сел, вспоминал красный свет, а электричка бежала, потом повернула, и я увидел вновь солнце, то есть его отражение в створке передней двери, все изнутри осветившее красным. Это уже было слишком – нельзя назад, так как нельзя вперед. Причем «вперед» электрички, где «настоящее», дом, это будет назад, но по сравнению с «вперед» универа. Я среди красного, замкнут внутри рассеянных окон.

Странно меня поселил сюда мир – чтоб был напротив. Я раздеваюсь, ложусь, ветер дует, и, хотя солнце печет, бок застыл, да и песчинки бьют в кожу – я поднимаю повыше края от мешка, но все без толку. Солнце сквозь веки мне давит в глаза, и бледный жар упирается в тело. Небо, залив, песок, солнце – пусть заберут все под светом. Йес, от холма ушли мама и сын – очень «рублевое» место, перехожу – мягкий, почти удушающий жар. Но не один я все это заметил.

– Девки, здесь «б...» не дует, что «б...» я тебе говорила, ты «б...» не веришь. – Им же всего лет тринадцать, а такой мат – я приподнялся на локоть и получил в ответ. – «Здрасьте». – В двух метрах рядом с моей головой они стелили огромную тряпку – нет, не уйду, ну не смогут они долго вот так материться. Они смогли – три фонтанчика дряни, «так что ж там ангелы поют такими злыми голосами». Может быть, браки творят в небесах, но только часто планируют где-то в аду, кто их родил, эти детища с-траха. Я поднимаюсь, ложусь в стороне, но даже там мне их слышно. Небо – скорей пусть поднимет и, как я есть, распластавшись, закружит – как бумеранг из палочек для мороженого: крест, переплетенье, полет – будто его и не делал.

Я уже просто устал от всего, эта «реальная» чушь надоела. Я удаляю лишь то, в чем для меня мало смысла, и сортирую сумятицу разных моделей, вновь выбиваю бред бредом. Вечно-то я ничего не закончу, да и зачем оно лезет. Метаистория и метафизика, и металирика – где-то слились, меж экзистенцией и эзотерой. Снова пошли фразы к тексту, кто пишет в стол, а я в стул, так как стола не имею.

Залив, двор и чашка, компьютер Синева меня не понимает – вот пожила б она здесь – стала бы черной, что с ней и будет. Но, то ли ветер убавился – день разогрелся, а то ли я пообвыкся – здесь, даже не за холмом, мне не холодно. Если лежишь на спине, тогда курить неудобно, и хотя жаль отвернуться от неба, перекатился, достал сигареты – здесь и песок тоже странный – сверху налет из коричневых крупных песчинок. Малая часть всех песчинок блестит, но и они жгут глаза, хоть и мелки. И, не понять, желтовато-зеленые зерна – я не слышал про зеленую разность у кварца. Я осторожно сдвигаю песок пальцем с гальки – нет, мы ее вдавим вглубь – мне надоели гранитные феньки. Сверху песок совсем теплый, на палец внутрь, он холодный и мокрый – дождь был и здесь, я туда спрячу окурок. Я уже долго лежу вниз лицом, положив под глаза руку, все – темнота, это я, и я еще тишина. В тело снаружи стучатся песчинки – до слабых взрывов по нервам. Я замечаю, что слишком сжал зубы, и даже губы

спеклись. И я сажусь – тот же день и отстраненный взгляд неба, ветер, как простыни, вмиг меня обнял.

Вновь в паре метров, на сей раз от ног, начали расстилать тряпку. Пара физически вполне красива – парень высок, очень мощен, но чем-то мне неприятен; ну а девица странна – красотой из японских мульттов, и голос – нежен, гротескно растянут. Лица шевелятся в такт челюстям – зубы влепляются в жвачку. То, чего Коба не смог, это вырастить «новую общность», Боба с наследником сделали быстро. Бежево-йодистый плотный загар их от южного солнца, они, бессмысленно, данны. Но как пластичны девицы, чтобы при жизни стать Барби... Лучше лежать – только небо. Над анекдотом из вшивой газетки они смеются противно. Я стал клинически не любопытен. Мой портрет мира – мое отражение.

Отслонит или нет мне сегодня деньгу Банкомать, как «заманало», жить вечно без денег – я начал так постигать даже бога, но только, правда, пока через Опу. Я нахожусь в Оп-позиции. Она безбрежна, она многолика, так как у каждого Опа своя, Опа абстрактна, и Опа конкретна – хоть где, без разницы, денег не будет, в ней очень много начальства, Опа сияюща и беспросветна.

Я надеваю футболку, но все же сижу, знаю, что все бесполезно. Не так плоха пустота, но то, что здесь – это нечто иное. Левей, за заливом вдаль коробочки домов и кисея – серость дымки. Я поднимаюсь, встаю над песком, и забираюсь вновь в джинсы. Трясу мешок пустоты, и все песчинки по ветру искрятся.

И я опять во дворах – только что туфли почти увязали в песке, теперь стучат о шершавость асфальта. А что-то сверху диктует, как будто рупор на улице, где-то вверху, передающий усиленный стук метронома. Звук опускается, бьет, и полсекунды на выдох. Как будто темные тряпки, вдаль пролетели две птицы. За пустырем, далеко, облака – странные – с серым «подбоем». Я возвращаюсь в межстенную затхлость. Нет никого, бело-серые стены. На них сумятица лоджий, балконов и окон, стальные двери подъездов. Снова подошва ложится на плоскость ступени. Дверной проем намекает, чтоб я наклонился. Я закрутился в спираль вместе с лестницей – этаж, балкон. Мусоропровод, бумага, очистки и дверь, другая.

Чашка на мраморном столике – круг костяного фарфора, свет белизны, полупрозрачность внутри усеченного конуса, маленький, сбоку, цветочек – не украшает, но все же не портит. Мрамор столешницы – светло-зеленый в бежево-белых разводах, тоже хорош, но слегка не додуман. Отполирован он и обработан по краю, но слишком сложно связать его стиль с логикой стола-предмета. Целого с чашечкой нет, как нет и целого с комнатой или со мной, и остается вникать в перетекание линий, что это – то ли пещера у берега моря, куда приблизилась лодка, или же женщина с дочкой идут по аллее, под наклоненными липами, и что их ждет. Но снова чашка – законченность, светлость – от нее, будто круги по воде, тает, теряет заряд совершенство. Мы все – рисунок момента, все слишком разные, каждый в своем – кто в своем теле, а кто – в напряжении. Смысл у рисунка, наверное, есть – не заподозришь, что это.

У ног – ковер, тоже светлый, но он податлив, берет в себя почти все, как и я, только его ничего не волнует. Через узоры ковра перебрались – не утонули в его доброте, не заблудились в его закавыках. Светлый дуб ножек – стола, кресел, стула – по его лаку все будто стекает, а древесина за ним вне контактов. Ползешь, сопишь, не согласен. Перед циновкой я циник – цинизм – ничего не осталось – она взлетает вверх к потолку, а я вверх не взлетаю.

Я иду в комнату сына, он, как обычно, постель не заправил – куча из одеяла, как будто морда с надвинутым лбом, но только я отвернулся, клацнув, ожил монитор. Мои «обои» экрана – два лопуха среди круглых камней в ярком, сияющем бликами, жидком кристалле реки, на них монетой вращается желтый пацифик. Дом надо мной и повсюду – множество серых ячеек, он – генератор, антенна, и только рано с утра, когда еще в его трубах вода пока холодна – он не сжимает меня излучением. Все здесь питается от пустоты, как отражение дере-

вьев водой – это корни. Смотрю на белый экран, он имитирует лист, на подсвеченный им дым сигареты. И я пытаюсь суметь рассмотреть ощущения.

Что-то во мне, и по-прежнему, хочет «домой», пусть попытается – хоть в мониторе.

Поезд и Сетка ... Поезд сперва торопился так, что вихлял, объезжая пригорки. Достиг предела – нет звуков – слитые с легким туманом деревья, а то, что было, исчезло. Слившись с окном, я смотрел и становился всем лесом. Серые коры ольхи, коричневатые ветки рябины, и мрачноватые стволы черемух – мчались на фоне желтеющей ближней горы за рекой в штрихах березы и сосен. Я откинул голову на верх сиденья, чтобы она, как хотела, моталась. В вагоне просторно, хоть полутемно. Люди – куски тени в креслах – лишь где-то волосы выше сиденья. Но на Речной, как всегда, поезд встал, и я смотрю на стоящие рядом платформы – только «ока тыши», они важней, их же больше. Как-то раз осенью я проходил здесь – по склонам насыпи часто лежали арбузы, то ли они как-то сами упали, может, их кто-нибудь скинул – были холодные, сказочно вкусно. Сейчас – лишь серое утро. Я все смотрю через плоскость окна – и поезд дрогнул. Белые сосны без хвои, их съела пыль, и повороты, и горки, Новый и Старый заводы, и их отвалы, вот – ближний путь, прямо к дому, но здесь теперь дома нету.

Вокзал, и все здесь выходят, мне надо б так же спешить на автобус, но меня просто выносит площадь. Сверху от пруда свистит серый ветер – все по-свинцовому серо, только вода здесь прозрачна, голубоватые «камешки» шлама на дне, и на веревках качаются лодки – все это дышит. Странно, но в поезде время застыло, и утро вдруг стало вечером, двинулось к ночи.

Я просто здесь «появился», горбясь, стою посреди перекрестка – три направления резко уходят под гору, ну а в четвертом – тупик, виден белый хребет, в сумерках он слегка розов. Спина асфальта внизу мягко выгнута, я – сын вот этого места, ведь здесь я вырос. Нет того города, больше не будет – он был совсем не домами... Только не вижу того, что вверху – там светофор на тросах посреди перекрестка – здесь он оранжево-желто моргает ночами. Я повожу головой – этот мир теперь пуст, нет никого, кто живет сейчас этим. В четыре и в пять этажей – чуть розовеют, желтеют дома. И только ночь – я ее ощущаю. Лет в десять, здесь в снах я летал – с крыши на угол другой самой дальней.

Нужно идти дальше к «дому», видимо маятник вздрогнул. Нет никого, и на улицах, нет во дворах, если б я шел в настоящем, мои шаги были б гулки. Я чуть спускаюсь под горку в проем меж домов. Тихо, дома обступили – двор, и я должен войти, я смотрю в окна, но они не те, весь мир пропал, подменили. Все обрывается, неинтересно. Окна подъезда все пыльны; и там за сонностью-дверью идут ступени наверх к ставшей чужою квартире, ...а есть ступени и вниз в коллективный подвал, и чернота там иная, после нее ничего мне не страшно.

Улица, я, вдали горы. Ветви, как пальцы, над крышей. Зачем мне быть полупотом тени, маяться здесь в перспективах, сейчас все умерше-сухо. Вот дом другой, здесь родители жили – окна глухи, слюдянисты. Бреду по городу, и город бред – сер от асфальта до неба.

Город-муляж, только в окнах не пусто, там – окна бабушки, ...были. Как-то шел мимо и решил зайти, она, как прежде, на кухне сидит у окна, только оно глухо серо, мне стало стыдно, ведь не был три года – «Как ты?» – «Да все, хорошо, еду Наташа приносит» – Я улыбнулся ей и вдруг подумал – но ведь подруга ее эта «тетя Наташа» умерла очень давно – где она, где мы? Ее не стало, когда мне было двенадцать.

Ветер слегка шевелит вокруг листья и очень мягко касается кожи. И в этом городе-сне – есть покой, что нигде не бывает. Улица снова спускается, площадь – и стало больше простору, смерть, разлучи нас, чтоб не было улиц. Я – только серость.

3 Сумерки Я совершенно реальный, но пишу о пишущем – как все распутать? «Где я исчез» – в этом тоже. Большая часть поля зренья – дом через двор, вверх по стене, сероватые окна. Кое-где в окнах уже видны лампы, свет их, хотя отстранен, но он сильнее, чем

день. Личинки мух – этот свет, круглые ржавые пятна на стеклах. День вновь потрачен на бунт на коленях. Вот он приходит, ты собран и ждешь, и – он уходит, оставив осадок. Яркие краски над серым стеклом теперь вниз, вверх еще голубой, а ниже – слабый зеленый.

В тишине хлопают где-то дверями. Слабыми волнами гула полов-потолков звук этот падает сверху. За двумя стеклами я защищен от пространства, но только в нем мне как раз и надежней. Я опираюсь на руки и опускаю лоб ближе к стеклу, от него тянет прохладой. Снова смотрю на ветви ближней рябины, полурастаявшие в таком освещении. И день не день, ночи нет – нету ни свету, ни тени. Что-то надвечное есть в Петергофе, есть в Петропавловке, и во дворах, но, отказать, нету в этом. Я не объективен, конечно. Рука хочет снова почувствовать в себе «макаров»: рубчатость, вес на ладони; и тормозов, кстати, нету. И, значит, силы опять появились, и можно сесть за компьютер.

Включить мажорную музыку, как кот катается вдруг на спине, когда кого-то укусит. Есть безграничное, жанр «переделок», но даже это сейчас мало греет. Скин виндовс-медиа-плеера – совсем зеленая морда, в ее башке цветомузыка: цвета – лиловые, синие, красные – всполохом, все, что возможно, и чувства мечутся вслед за цветами. Воздух толкает мне музыку в уши, горблюсь, курю и пью Баварию снова; кто писал чаем, я – пивом. И я смотрю на ракету-бутылку, на длинный блик возле горла, чтобы проникнуть в него, приложил ее к глазу. Сквозь поцелуй, круглость губ, хоть даже мокрых, через коричневый светлый объем, где не мешает наклейка, смотрю – и глазу прохладно. Взгляд на поверхности-пленке – все в этом блюде танцует. Я отнимаю кружок ее горла от глаза и поднимаю бутылку, так я ныряю под блеск – все растянулось и смазалось по вдоль, множество правд – несовместность.

Вкрадчивость, тихость наполнили все. В сумерки и даже Серость исчезла. Я иду в кухню и нажимаю на клавишу лампы у кресла, но ее свет только режет. Я прижал пальцы к глазам – но в черноте выплыл странно светящийся глаз – бел, потом желт, наконец, голубеет. Иду к окну, получается странно – в нем моя тень от светильника справа вдруг отделяется влево. Тучи рассеялись, и в тихий двор заглянула прозрачность – нет диссонансов, и нет напряженья.

И меня снова уносит. Я легко вижу другой пустой двор (сжавшийся раньше до точки) и тополя выше крыши у окон, я даже вижу себя рядом с серым столбом, где только лишь замерчал еще белый фонарь, и его свет слишком тусклый.

Она Что теперь это за город... и из проема углов смотрят окна, я не хочу ни с чем спорить и не замедляюсь. Странное было тогда состояние – меня как будто крутило, я не мог о ней больше не думать, и утонув в синих сумерках, быть хотя бы рядом с ее домом, и видеть свет ее окон – только это и было событием, жизнью. Вечер, он, словно и правда вода, был проводящей средой, соединял меня с нею. По нереально изломанной лестнице ее подъезда я шел наверх в желтом свечении ламп на площадках – и поднимался к той двери. Все это только мелькнуло, и я уже перед дверью.

Свет в коридоре, как сон, пожелтевший, но теперь я не боюсь, ведь это я его создал. Справа тот угол, где были ботинки, мой серый след от подошвы. Чуть приоткрыты стеклянные двери – темная комната, где пианино, тупик, и дверь открыта, тихо – она замерла, я даже вспомнил картину «Даная». С улицы свет фонаря – слева блестит лак на спинке кровати. Влево в углу – ее письменный стол, я сажусь возле, а в памяти тихо всплывает – я ревновал, когда было шестнадцать, но вот не знал, что ревную к себе же. Я сижу в куртке, она неуместна, но только призрак не может раздеться. Кем, интересно, она меня видит?

– Это свидание? – Голос ее вдруг пугающ. Она совсем не шевелится, и это лишнее здесь, а я смотрю и не знаю, что делать – хочу склониться, но я неподвижен, и нету смысла пытаться. Три тех любви за спиной, как тоже три моих смерти – с кем я, на самом-то деле? Я сам могу даже выбрать. Переплелось все – где я, на самом-то деле, и мета-женщина – одна за всех, что мне теперь с нею делать. Это еще невозможность – рука поднимается – пальцем рисует цветок

у нее на груди – розу, как помню, неплохо. Я иду в кухню – все слабо искрит – я снова что-то ломаю. Табурет в кухне заманчив, по коридору за мною шаги, чем они ближе, тем тише. Я даже не обернулся. Подняв глаза, я смотрю – она, создав красоту, была ею – она домашняя, в тапках, в халате.

– Как ты жила без меня? – Голос звучит неожиданно глухо, что-то не то здесь с пространством. Слова – округлые камни. Что-то – реакция с моей судьбой, было, всегда, в связи с нею. Она, став мастером форм, стала заложницей и их иллюзий. Больше иных мне известных ключей от плоскостей-описаний, она меняла мой мир, и могла быть абсолют. Весь комплекс чувств, задаваемых ею, не мог быть замкнут. Это она оживила когда-то мне душу, и много лет была мука. И только что-то легко поселилось во мне с ее лицом, и принимало молитвы.

– Ты что же, думаешь, что я – она? – Тут даже памяти нету. Но только это она предала, предает и сейчас, лжет, как обычно – я тронут. Манипулировать кем-то наверное можно, только важнее знать ответы.

– Будешь пить чай? – Шаг-два к плите, она трещит зажигалкой, и светло-синий огонь над конфоркой сквозь «стекло-чайник» создал чудный свет, вместо глухой серой тени, и, когда вскоре пошли ото дна пузырьки, блики его заплясали по стенам. В чем-то обман, что тревожит меня – здесь нет ненужных деталей. Роль мне навязана ею. Иду к окну – чернота, а не серпик луны, а она близится, я обернулся – женщина – «как-бы-реальность», она проходит меня, как сквозь дверь, и, что-то взяв, возвращается к полке. Как будто хочет меня накормить, но здесь еды не бывает – делает что-то, не вижу. Сажусь на корточки спиной к окну. Я понимаю – зашел далеко, но мы на равных. Теперь я мир этой кухни. Через нее я опять принят в люди. Хочется выпрямить это. Здесь рядом с ней теперь прошлого нет, а мысль о будущем – глупость.

Может быть, что-то она пробудила во мне, все словно снова прекрасно, но – как занозу, принесшую яд, я вижу – я ей всегда только средство. Кроме души, мне платить сейчас нечем, будет «томление духа». И никого не спасти – ни ее, ни себя, можно одно – уходить, и каждый из нас уходит. Так быстро движешься в мысли-пружине.

Мы с ней похожи, но только в одном – оба болеем простудой. Я вижу бывшее, то, чего нет – где очень синее платье, тело ее танцевальное, мягкость движенья – они меня поражали. Она реальная одервенела, только не тело, конечно – внешние слои энергий. Если подать, как магнитное поле, любовь, то электричества просто не будет. Верить и знать она тоже не хочет, что можно, было б иначе. Сама любовь здесь несет отрицанье. Встал – ломовая тяжелая боль, я иду. Перешагнуть, тогда будет теплее. Вот окончания нервов слились, где-то мы так и застыли – где я и жду ее снова. Эта астральная жизнь превращается в свет, я становлюсь его частью. Она – рассеянный контур-свечение, но, если что-то сбивается вдруг, вижу бордовое пламя.

Я замер возле поверхности – как разорвать, ведь так немного и нужно. Наше сознание это стекло, и она в нем – только смотрит. Нет никаких направлений, и извне в меня вновь прорастает инертность. Мы зря растратили шанс нашей веры друг в друга. Я не фанатик, и я не фанат, а человек фанатизма, как оказалось, она тоже рыцарь – образа совсем иного. Она сливается с иным мне миром. Нас создают ожидания, тот, кем я был, в этой спящей квартире – то, что она захотела. Рот – я, иное, наверное, крик. Что могу я – на зрачке быть распятым. Трудно любить обезумевших женщин.

Я бы остался, смотреть, затихая, но ртуть катается, я не могу – было б возможно, мы вышли бы вместе. Мир-абсолют, я его делал, когда это мог – как кислотой фотопленку, разъело. Эта картина изломана, наклонена, вовсе не падает – так показали. И, везде полосы, и не понять – почему так побледнела она, и так молчит, распрямившись. Вдруг, незаметно, картина пошла патиной, нити же, шедшие, чтобы замкнуться, порвались. И, вновь пройдя через эту картинку, я оказался в совсем пустом внешнем.

4 Вечер Я у окна, почти ночь, и на стекле есть мое отраженье – незажжена сигарета во рту, глядит вниз-вправо. Я сам себе удивляюсь – это дневное сознание уходит. Есть только круглое пятнышко, где от дыхания стекло запотело. Начался дождь, просто морось. Серая туча висит, барабанит. Мелкие капли стучат по карнизу, в асфальт и – где придется, хоть в лица. Если поддаться им, хочется тоже стучать, пусть даже в крыши тех джипов – чтобы сползать с них по стеклам. Ждет что-то сзади открытая дверь – я там не должен почти ничего, только сварить компот сыну и охладить его в ванной. Как же так тихо стемнело.

Сын не идет – и еще с полчаса, у него много занятий. По вентиляции слышно, «базарят» соседи. Столько от них энтропии. Он отсидел за свои два убийства, и он играет теперь на баяне – венские вальсы под утро, и скрипит стулом на кухне.

Видимо, только включили – красным горят паучки фонарей, от них оранжево по рекам улиц – в сумерках все, наконец, исчезает. Улица: вдоль стен людские фигуры, навстречу взгляду огни, полет фар, за ним, как сгустки, машины. Люди идут возле черной дороги, каждый пронесет свой образ. Там как бы праздник, рокочук машины – если пойти, например, в магазин, и я впишусь – снова рассеюсь на поле эмоций. Как арлекины, упругие дамы, веселы жесткие парни. Там «очень милые люди». Все они вписаны в схемы, всех их несет бесконечная сила. Я исчерпал весь запас для авансов, и мне темно это видеть. Люди в ловушках их полументальных пространств жгут свои свечи-обиды. Возможно: есть и пространство их целей, здесь хотят лучшего все, здесь существует прощенье. Они зовут – от локтя им предплечье.

Я стал, наверное, слишком подвержен погоде – как и она, так и мыслю. Там под дождем сиротливо «гуляют собаку», может быть, другой сосед. Он крал вагонами и уходил от ментов на своем мерседесе, они стреляли ему по колесам и, наконец, посадили, но в «крестах» не было спальных мест, он уходил туда утром, к восьми, как все идут на работу.

Хочется жить снова снами. Замкнутость это, конечно, беда, а я попал на заброшенный остров, что-то меня увело, эта подробность – жить чисто. Кот сзади, как колокольчиком, вдруг зазвенел китикэтом по блюдцу – вроде тех мелких котов на работе – вместо деревьев там лезят по трубам. Это как если зайти все же в ад, но только он отдыхает, чертям, действительно, тошно. И апокалипсис ждать уже даже не нужно, а бледный конь – это серость, тих, загрузил – со мной вдвоем ему скучно.

Нужно уйти наконец от всего, туда, где всегда спокойно.

Иструть и фреска Я иду яркой дорогой от Айлино – здесь хорошо на окраине холма-плато – множество света и ветер. Скоро дорога пойдет чуть под гору, но пока справа из светлой долины ко мне идет дополнительный воздух – еще и в нем я иду и купаюсь. Хочется махать руками.

...Что-то такое же было и с сыном, когда он только ходить научился. Я, возвращаясь с работы, еще лишь шел, шаг от двери, чтоб положить ключ на полку – из-за угла коридора вдали вдруг раздавался частящий легонький топот, за поворотом он чуть замирал, бежал ко мне в голубых ползунках на косолапящих ножках. Я приседал, где стоял, улыбаясь, чуть протянув к нему руки, а он – летел с большим риском, ткань на подошвах скользит об линолеум, так же тянул ко мне руки, и он улыбался – рот, только темная щель до ушей, нет ни единого зуба, а глаза сияют. Я говорил – «Авава.» – А он в ответ кричал – «Капка». Так далеко, да и трудно, было бежать ему весь коридор, но в конце бега я мог его сцапать...

Голубизна и опаляюще-жаркое солнце, распадок гор впереди в направлении взгляда, и за ним – конус другой, уже дальней, вершины. И – сероватый, отбеленный солнцем забор, и трава, я часа два неподвижен. Пол на веранде так залит солнцем, нагрет, что босиком не наступишь. Темный капроновый вечный носок раскалился и нестерпимо жжет ногу. Пока еще боковой почти утренний свет уже заставил меня отклониться назад к стене в полосочку тени. Я сажу низко – на «волговском» старом сиденьи, поверх коленей смотрю в никуда –

на уходящие в стороны, в даль все бесконечные горы, на три привычные крыши поодаль. Больше всего мне давно интересен забор или, точнее, пятно справа – что-то, как слабый дымок, что колышется, тихо клубится на сером фоне штакетин. Каждый год месяц смотрю – и вставал, шел туда, но, разумеется, нет ничего, кроме покошенной мною крапивы. Это пятно все клубится – нужно пойти внутрь него, посидеть, и попытаться почувствовать, в чем же там дело, только в таком ярком солнце сидеть будет плохо – выбрать другой день, не жаркий, всегда забываю. А интересно ведь – что там такое... От почерневших во времени пихтовых бревен дома за всеми костями спины и под затылком – ни звука, в них нету чуждых вибраций. Муха сделала круг возле сигареты, ровно в пяти миллиметрах от пальцев. Как ни поднимешь «стропила», а слишком не будет – воздух, он все это обнял, а я с землей – мы молчим, нам ничего не поделать. Там за спиной, за домом долина, где много раз с пугачевских времен уже был пруд – я видел то, как его прорывает – три дня ревели потоки из грязи, несли стволы, заполняли ущелье. Не позавидуешь этим «войскам Михельсона», когда их все так смывало. Плотина прорвана снова – там тихо на старых досках – вокруг, подковой, гора залесенная, моя защита.

Здесь нету денег – о них с трудом вспоминаешь лишь раз в неделю, когда продукты закончатся и нужно идти километров за пять в магазин, здесь нет совсем никакого обмена, здесь не присвоить чужое – что ты есть сам, только то и имеешь. Не так и много я был просто счастлив, но здесь все время. Крупных противников – только комар и крапива. Зренье рассеялось напрочь, но зато есть ощущение цельности в целом.

Слева плывет в вышине над гигантской сосной медленный взгляд-черта-коршун – тоже безвыходно в этом покое. Лишь один раз в эти годы он пролетел совсем рядом с верандой, гнался за птичкой с малиновой грудью – будто торпеда с короткою шеей и с силой крыльев у тела. Видел я: как поднимается СУ – дом, странно прущий по небу, но много больше, чем СУ, он стремится. А были годы на той сосне в самом центре деревни жила семья ястребов, и, если коршун сюда залетал – воздушный бой, они кружили, его изгоняя – голоса, их и его. Снова и снова, он кружит и кружит, и только он в состоянии вплыть в эту синь – чума курятникам под этим солнцем – он не дает синеве стать пустыней, и он один на все небо.

Два часа я сижу, курю и пью кофе за кофе, только встаю – заварить. Светлая голубизна все уже выжгла в глазах, теперь давно наполняет мне душу, но что-то там все еще шевелится. Слева влетает, порхает то выше, то вниз бабочка – чуть-чуть спускается, мечется в стороны и что-то ищет. И опускается мне на колено – может быть там грязь на джинсах, может – и пот в них впитался. Как и летала, сканируя, шарит по верху колена. Бабочка очень обычная – черное с красным, я здесь встречал и покруче, но я попал в ее поле. Хлоп – она крылья сложила наверх, а их изнанка белеса, но тогда видно все тело и лапки. Хлоп – крылья вниз, и я пытаюсь успеть, снова, вникнуть в рисунок. И она вновь что-то ищет. Я уже знаю – сейчас улетит, будет вновь рыскать по сладким потокам, ну не ловить же. ... Было – хотя и не бабочки, но улетают. Только в ладони – сигнал, его некуда деть, предошущение крыльев. Образ и трогать ненужно, и, не поняв, я останусь «истоптан». Это Зов бабочки, «scream butterfly». Бабочка перелетела на палец, я подношу ее ближе к глазам, но и она тоже смотрит. Это, наверное, все же лицо – я гляжу в бусины, на узкий сдвинутый вниз «подбородок» – и в мире форм тоже есть свои души, негуманоидный разум.

Как было просто здесь с кошкой Чумой, лет семь, когда приезжали на отпуск, переходила к нам жить от недалей соседки – мне она нравилась своей поджаростью, очень большими глазами. Она была настоящим лесным зверем – два раза в день приносила мне свежую мышь, а отец видел, как она подползала по ветке к соловью. Шкурка ее была чистой и ровной, гладить ее было очень приятно, да и ей нравилось – она мурчала громче, чем трактор в ста метрах – одна беда, сидя на коленях, она выпускала огромные когти, и приходилось на джинсы класть ватник. Когда вдруг стала ходить еще кошка к ее миске у печки, Чумазая как-то лежала на стуле – она всего только глаз приоткрыла и нежно мявкнула – «Рыжая шкура» на полусо-

гнутых еле вползла под низкий шкафчик, чтоб просидеть там до ночи. Потом, когда мы приехали снова, она пришла, но качалась, и взгляд был мутный, ела тогда она мало, ходила за мной, а через двадцать дней просто упала – я иногда отгонял наглых мух, потом ее схоронил в косогоре.

То, что действительно любишь, как эти сотки участка, дом и деревья – оно является центром. Вокруг веранды вяза раскинули ветви и листья, загородили обзор и, как ладонями, плотно меня облепили, здесь стало меньше пространства и ветра, но только я не решаюсь эти ветви подрезать. Когда вяза были совсем небольшими – в четыре, пять листьев, я подходил к ним несколько раз каждый день – с утра листья были почти что свежи, несли на своих геральдических лапах росу, к обеду они обвисали и становились бледнее. Но уже на второй год, хоть вяза и были еще небольшими, их листья твердо стремились наверх, и гнали вниз свежий воздух и силу. Теперь первый из них уже архипелаг мощных листьев, их сотни, и он помнит меня, узнает, но он занят – своим, и мне чуть-чуть одиноко. Вся синева и объем неподвижны, ветер, конечно, невидим, но море листьев его превращает в море своих шевелений.

Когда сюда приезжаешь раз в год, весь участок зарос – пикан, борщевик, крапива – выше двух метров, травой назвать это трудно – мир чужих, мрачный дурманящий запах, если войдешь туда, будут ожоги, и комары, и им подобная дрянь. Чтоб прокосить-прорубить этот мир мне нужно целых три дня – в поту, в усталости, сожранным всей насекомой тварью. Темно-зеленое море из листьев травы, их коллективное поле сознания, и когда косишь, не можешь не видеть: как они «смотрят», как реагируют – наговор, их темный шепот – падают часто в лицо и, еще чаще, на руки. Но только они бессмертны – их резидентные корни повсюду, дней через двадцать их листья под край сапога, а семена легли в почву.

Я поднимаюсь, иду по веранде, а легкий ветер ласкает прохладой мне через футболку грудь, спину, плечи.

...Вновь сыну восемь, а я так древен. Мы сидим на склоне. Внизу квадратный участок огромных берез, кладбище меж бесконечными вышками сосен, он зарос сиренью, малиной. Вправо и ниже лежит монастырь – он весь особенно замер, и тем полутора-двум непонятым старухам и недоделанным мальчикам псевдомонахам, что там теперь после выезда двух отделений дурдома, уж и подавно не сумеет нарушить там тишину или нечто большое. Слева и сзади, где круто в горку уходит дорога – подросток сосенок, я даже пробовал их отсадить себе к дому – не приживаются, почва – здесь глина с крошкой сланцев, а тот крутой чернозем у меня не подходит. Вокруг полно земляники, и созревает клубника – как винограду, но мы лентяи – сорвем по ягоде, если не нужно тянуться. Сильно левее и выше – плато, остатки келий-землянок еще от «старцев», там есть поляна из «монокультуры» древнего сорта большой земляники – ягоды длинней фаланги на пальце. Ягоды ярко горят жгуче-красным, но мне приятней – взяв в зубы пару сосновых иголок, чуть-чуть мочалить ее – от них такой странный привкус. Из-за жары весь пригорок, трава пожелтела, стала похожей на эти иглы – запах в траве, как и привкус – сосновый.

Свесив и сжав вместе задние «ноги», справа летит ко мне шмель, и он лобасто таранит собой шепот трав, по-деловому гудит у колена – «маленький», он и не знает, что голубой цвет застиранных джинсов не обещает нектара, а вон комар – абсолютное зло, он это дрянь с ного-носом. Станным был даже уже прошлый год, я понимаю, конечно, что годы различны, но только вдруг появились прозрачные мушки, в Сатке исчезли совсем тараканы – после строительства пятого банка. А на реке появились зеленые, как бирюза, как жук-бронзовка, стрекозки. Вроде бы зелень вокруг, как и прежде, но и она тоже, вроде, светлее. Справа и дальше внизу у края вращенной в травы, и совсем тихой такой деревеньки, блещет на солнце, под ветром, полиэтиленовый, как флаг – обрывок на крыше (там был парник), он режет глаз слюдянистым сияньем. Аэродромчик ромашки над ним – все качается, ждет, что возвратятся заблуд-

шие души. А еще дальше, как точки – цветные зады земледельцев, штук пять, шевелятся, может, махаячи тяпкой – им нужно нынче «окучить» картошку.

Слева под дальнюю блеклой и островерхой вершиной, чуть скользит вправо и вниз полоса близкой горы и выгибается кверху, но и на фоне ее есть тоже светлые горки – с них идет лес, как щетина, но устает перед длинной поляной. Ближе петляет в черемухах речка, в ряд – пять больших тополей. Они в плащах серой дымки, как на иконе монахи, и, словно эхо плащей позади – эти линии гор, а островерхая – нимбом, дымка над нею светится. Воздух пустынен, и голос кукушки, как мерный колокол – словно звучит отовсюду; свист мелких птиц, шорох ветра. Что она видит, кричащая птица?

Я слегка щурюсь от солнца и беру синюю крышку пивного фугаса, и одеваю на глаз – она, как клещ, присодалась, из-за пупырышек по ее краю – впереди все бельмовато-белесо, а по краям – ярко-ярко, здесь я сейчас – не понятно. Могу представить себе взгляд снаружи, я – как Монокль-Паниковский. Из-за плеча, тихо, птичка опять вопрошает – «пиво-варил», нет – покупал, а эта птичка – стукач на налоговый орган. Я, как слепой, ошущаю бутылку руками и, как другая «ехидна», свищу, отвечая – «варил-да-выпил». Ветер порою подносит бесцветные губы к горлышку темно-коричневой соски-фугаса с наполовину оставшимся пивом и туда дует, гудит, чем отбирает мою развлекуху.

Я смотрю в небо – оно велико, очень прозрачное, будто клубится. Мне непонятно – плывут ли куда облака, их мало – три, небольшие. От них не тень – антитень, легкая белая краска, кое-где бросили серость на горы. Я как-то видел здесь – облака, как гигантский знак «X» на светящемся разными красками фоне заката. Воздух не душен и легок, даже, когда ветерок несет жар, он – так же, свежесть. «Есмь», не есть «есть» – вот подменили ведь слово. Вдалеке лает собака, но этот лай так бессилен среди пустоты и замеревшей долины, и неба – как будто лает всего лягушонок.

Лес начинается чуть позади, а рядом склон почти пуст – только лишь несколько сосен, зато какие – невероятно большой высоты они выросли в бесконечность, не наполняют пространство – меняют, делают верх абсолютно реальным. Около Питера сосны иные – раз в десять ниже, как и то небо, их корне-ветви вцепляются в воздух. В самом лесу их, настолько высоких, не встретишь. Ближняя – трудно пытаться даже взглянуть вверх на крону – не осознать, свет мешает. Я краем глаза лишь чувствую только присутствие, ствол, как дорогу, верх – нежен, светел, в полупрозрачных тончайших чешуинах-пленках, все – в рыжеватом особенном цвете, и так насыщено, что даже красится воздух. Сколько лет им, этим соснам, лет тишины, мне это трудно представить – если пытаюсь, тону, ухожу в странный мир, уже оттуда гляжу на пространство. Надо их как-нибудь все же измерить – через «подобные треугольники», как геометрия в школе. Вот существо это просто живет, но превышает дома городов – почва и свет – к лицу неба. Странно считать сосны за идеал, но, правда, были ж древляне – они, возможно, так и понимали. И вообще, здесь почти что, и не было власти, сволочам далековато. В этой стране только одни казаки были когда-то свободны.

Вперед и влево над всей долиной – хребет, за ним – по грудь, неглубокая речка. Вода в ней прозрачна, и там черемухи, ивы вплотную подходят к воде – и, если плыть на резиновой лодке, ты, словно в странном таком коридоре – вокруг красиво, все время. А в одном месте живут журавли – и над тобой, над огромными ивами они кружат. Еще левее, где конец хребта, Сатка впадает уже в больший Ай, и он потом, день на сплав, кружит меж скал и уходит направо. Что есть вода – это она несет тебя мимо полян – дай бог не въехать в валун на середине и обойти его в струях-усах, на шиверах не прорвать дно у лодки. Вдруг это все замирает – как ни мечи шест вглубь плеса, то подождешь еще, пока он вдруг до половины подпрыгнет над лодкой.

– Нужно идти. – Я повернул к сыну голову. – Хорошо бы сегодня пару калин посадить, пойдешь со мной?

– Нет, не обидишься? – Ему не хочется даже лицо напрягать разговором, его расплавленность феноменальна. И он опять будет с книжкой сидеть на веранде.

– Да нет, нормально. Давай зайдем к этой фреске, несколько лет не ходили, мне интересно, что там будет снизу, нужно попробовать счистить. – Я поднимаюсь, тяну его руку, и мы идем вниз по склону, по временам отбивая коленями, светлые стебли травинки. Три горизонтальных жердины забора – перелезть очень просто, но только что-то смущает – когда дурдом переехал, и возвратили сюда монастырь, эта земля стала более чуждой. Здесь травы больше, так как не ходят коровы, а возле трех обжитых побеленных барачков есть даже как бы дорожки из плит доломита, и выходить на них после травы хорошо. Около одной стены сотня штук кирпичей, их те «монашки» таскали «на пузе», дальше под легким навесом открытая дверь – как черный зев на стене, ослепляющей белым. Тишина здесь странновата. Ниже, где раньше у дуриков был огород – лес душно-знойной крапивы, нужно идти, раздвигая ее высоко поднятым локтем, чтоб не словить жгуче-зверских пощечин, причем не видно, куда наступаешь, а каждый шаг вниз под горку – словно такое паденье. Но и крапива кончается, где раньше много ходили, около темной стены мощных бревен – здесь, в узком светлом объеме как-то особенно слышно, например, гул насекомых. Где была дверь, тянет запах земли, и за порогом нет пола, здесь в прошлый раз хотя бы лошадь стояла, канатоходцами – по балкам-лагам мы переходим к другой половине барака. Через такой же бездверный проем чуть ли не сгорбившись, чтоб не шуметь, медленно, через фантомы, мы входим в дальнее из помещений, здесь был «буйняк» при дурдоме, а при монахах оно было трапезной. Так как пропорции окон и стен непривычны, кажется, что голова закружилась. Окна продольно забиты досками, но даже издали в щели видна огромность пространства – ночью здесь видно все звезды. В полосах света не сразу заметно, что внизу очень просторный подвал, через крапиву на входе и свет в нем зеленый – мощный фундамент из розовых плит над падением склона. Если теперь развернуться – по сторонам от отсутствия двери, где отслоились куски штукатурки, здесь сохранилась часть фресок – то, что украсть не сумели.

В первый момент видно плохо – как будто грязь, отслоения, потом – как сквозь серый иней, и даже вздрогнешь, видно, что там кто-то есть – почти на метр он повыше меня, смотрит из-под капюшона. Позже доходит – картина. В ней мало что сохранилось, но до конца не проходит – он же стоит здесь три века. А если это и есть – тот самый «черный» монах в балахоне, я всегда вижу спиной – не поднимает лица, только и я не могу обернуться. Святой без подписи, он не икона – как камертон человека-пути в поиске сущности мира – в этом, возможно, была главная ценность из допетровской культуры. Это – путь духа. Эти глаза странной формы на старчески-детском лице, глаза того, кто всегда видел небо. Стена – большая, она – его мир, войдя в него с таким взглядом, он уже не возвратился. Вдруг, оказалось, что здесь часть меня, и несущественно, что нарисована кем-то. Действие фрески меня удивляет – темными красками, позой фигуры, надчеловеческим взглядом она уже раздвигает реальность. А все фигурки в изогнутых позах, на заднем плане строенья – они, напротив, уносят – периферией вниманья ты падаешь с ними. Когда ты, внешний, увидишь вот это, все изнутри быстро станет спокойным. А когда ты отвернешься, вдруг выясняется – что-то осталось, словно пустой силуэт. Весь прежний мир из твоих представлений при том становится смутным, как из-за трещин на стеклах, вдруг неизбежно ветвится. И уже все это: место – икона, но только больше, объемней, и, причем, с действием тем же. Ну а то первое – лик, изменившись, уже становится дальним. И ты внутри, и ты в ином сознании, чувствуешь, все понимаешь. Это, как дверь, безотказно...

«Старцы», отшельники любых религий, просто уйдя от поверхностной жизни, все находили в себе эту сущность, бывшую в прежнем сознании. Она несла уважение к сущности в каждом, как часть «закона внутри» – ты понимаешь «его» как себя и, как себе, «ему» видишь, желаешь. Все это не было иной культурой, это и было культурой – полупотерянной «русской идеей». Когда, с Петром, победило другое сознание, то, постепенно, все было забыто.

Я представляю себе эти годы, что накопили тут копоть – столы и лавки, монахи и тишина из долины. В руку меня тяпнул злющий комар, и сильный зуд, нестерпимей крапивы, мне помешал смотреть дальше. Я от бессилия боли иду до окна, сквозь щель смотрю на долину. Там река мягкой змеей ползет по бывшему пруду – по лугу, где уже ивы.

– Как тебе этот монах, помнишь землянки, «деды» там сидели. Я говорил тебе, что у землянок я посидел раз на склоне, и только две мыслеформы от «древних монахов». Главная – метров с пятнадцать длинной березы очень стараются вымести небо, но они даже его не щеко-чут. И еще одна – толстый монах, подпоясанный, как тюк, веревкой, пытит на тропке к ним в гору и в котелке несет жрачку. Нет других мыслей из этого мира, ну или я не могу их представить. – Я, как последний турист, наклоняюсь и выбираю внизу у стены кусок слоев штукатурок размером с яйцо с коричневатым фрагментом одежды, что мне с ним делать – положить на полку. Возле окна я смотрю на него, где нет слоев синеватых побелок, краска атласно играет.

Что же хотели вложить в эту фреску, может быть это и есть та структура-прообраз. Можно попробовать стать им – взгляд такой есть, а, значит, это возможно, войти в такую реальность.

Мой, как у всех, идеал это отпуск, он через пару недель, близко, как вытянуть руку.

Стёкла Вдох-день закончился, я не кончаюсь. В чем он сухой неделимый остаток, есть ли, хоть что, в позитиве – есть только штрих – а «возвратиться домой» невозможно. День рефлексии, начавшийся с легкой досады, прошел меня своим маршем явлений. Но он почти и не помнится больше – образы прошли меня, и теперь я им не нужен. Это был бой с ними – с тенью. Это не я, а они утонули – мир им, в их прошлом. Для меня нету религий и нет философий, все они вера на чье-нибудь слово, и описания их рассыпаются в пальцах. Но у меня есть доверие самим своим ощущениям. Что-то по центру объема сознания медленно строится в некий порядок. Я превращаюсь в спокойную точку.

В чем-то компьютер, как зеркало спектра сознания – что соответствует части в тебе, то ты находишь и в нем: тексты и фильмы, «игрушки», но в их законах, конечно. Причем с законами, с выбором можно общаться, в них рефлексировать – как с внешним миром. ...Из-за бездействия на мониторе слайдшоу – импрессионисты сменяют друг друга. И тоже ждут, что скажу я про сущность. Двигаю джойстик, ведь «Клинтон Билл не раз бил, и баба Клинтона била...», но мышь хвостом победила – рама и мелкозернистое белое поле, сзади которого спит чернота, видная лишь через буквы – части от большей реальности, что-то живущее в связях – то, с чем я был в переписке.

Что-то во мне идет внутрь, и еще что-то из центра. Серость настолько насытила все и сгустилась, что я стал тверже. Я лишь вниманье, безмыслен – я сам себе выбирал свой вид драки с реальным, и он не хуже любого, что могу выиграть – то, что не знаю. Может она в чем-то даже и есть, но только я и не знаю другой «развлекухи». Еще стою и, пусть все гребано, что-то сгребаю.

Варить компот – это «влом», и я уже не успею, ладно, хоть борщ давно сварен. Давно пора отключить шелестящий компьютер. Две-три извилины пустой квартиры, узенький бункер вокруг унитаза. Я прохожу мимо ванной, там еще тише, нет света – я захожу, смотрю в зеркало, и в темноте его таю, здесь уже нет ни шаблонов сознания, и нет ответо-вопросов – все в своем, «в нетях». К чему сегодня я шел, можно увидеть лишь здесь, если еще погасить все остатки эмоций. Тело сознания, как муравей, усиком, щупает что-то. Я это зеркало с моей структурой. Темнота-зеркало больше, чем днем был компьютер, и глубже мира-осколка. Стен уже не остается, что-то живет в заменившей их вате. Дом звезд когда-то был нашим, в нас также часть их сознания, но там иные законы и цели, а в наших странностях-гранях, есть те возможности, что нет у них, здесь другой принцип. «Бип» – «Юстас центру», нет связи – темные не отвечают, вокруг одна «дизизкрайба...». Как деревенский агент ЦРУ ни разу не бывший в Лэнгли. Что

теперь зеркало – я и не знаю, зренье уже перестроилось – падает прямо вперед в смутность по центру. Хоть не глазами, и на расстояньи, я вижу темно-прозрачное поле, в нем нету образов, оно дает, если нужно, возможность. Боль неподвижности давит на плечи, мать моя тьма через дом глядит сверху. Но долго видя вокруг пустоту, приобретаешь и все ее свойства – хочется снова искать некий выход – чтоб снова двигаться дальше. Я вспоминаю – в руке сигарета, и я затаился, а кафель отсветом всюду ответил. Без огонька было проще. Ярко-оранжевый свет-апельсинчик в зеркале жжет мое зрение, но снова блекнет под пеплом.

...Шумы и с улицы, и через стены исчезли. Снова окно передо мной, оно – как плоскость отсчета в оправе эмали. Фонарь, электрически-белый, медленно, стал разгораться внизу на стене, в чуть светло-желтый окрасил листву на рябине и, отстранив все повсюду, вдруг ограничил объем кисеей подсветленных им веток. Глазам не очень и видно все то, что вовне, и отражение слабо.

Все механизмы эмоций, как жизнь колоний из образов в нас – еще не есть человек. Чем больше этот клубок разматываешь, тем больше всякий абсурд отслоится. Что «я» снаружи – я лишь силуэт на светлом фоне окна, как для меня я-монах в капюшоне. Что «я» на самом-то деле – что-то созвучное лучшему, как для меня все в Иструти.

5. Их город

(Взгляд и иное. Про перспективу и ретроспективу.)

Взгляд и иное Я просто взгляд с угла крыши – должен смотреть вниз на двор. Я взгляд всегда чёрно-белый и подслеповатый из-за слегка сероватого снега, вечно идущего в моём пространстве. Я знаю, что у других этот снег не идёт, у них лишь вечная ясность. Я утонул в этом мире, в его проявлении. Внизу блестит ещё чёрный асфальт. Я хоть не вижу, но знаю – что и сверху чернота в струях сухой снежной пыли, но мне не холодно, всё здесь – картинки. Мой угол зрения градусов тридцать, это меня утомляет, но нету смысла менять направление. Я ещё знание того, что я вижу – память-сравнение и разум, но я почти равнодушен. Неинтересно быть только лишь взглядом, а интереснее думать, глядя ещё и в себя, чтоб до конца прожить элементы эмоций. Можно ещё смотреть в пятна, чьи спичко-ножки шагают, и уходить вместе с ними. Вот кто-то вышел из двери подъезда.

... Чёрный Ковбой, или проще – ЧК, вышел за двери салуна и посмотрел мрачным взглядом. Рука привычно пошла к револьверу, но остановилась – что он забыл – он не помнил. Сонный Носатый здесь размыл ЧК, но сзади хлопнула дверь – он даже съёжился, тогда ЧК возвратился. Нужно дотронуться пальцем до шляпы – ЧК пошёл вдоль газона. Агент был просто агентом – немного сгорбившись в сером плаще, он лишь скользил мимо дома – этот сканировал взглядом пространство. Он не знал зачем и не знал себя – и нет лица, и нет кожи, лишь силуэт в этом мире. Вдруг сверху слабо блеснуло, и он присмотрелся – там была камера для наблюдения. И часть из полупрозрачного зрения он в себя тоже здесь принял. Теперь он понял – зачем то нужно себя донести, чтоб принимать в телефоне призраков многих чужих ситуаций.

Возле подъезда машина мигала огнями – то вопиёт, то бесовски мяучит, чтобы не дать здесь теньям стать злым действием мрака, видимо её вспугнули касанием. Вот вдалеке силуэт, на лице полумаска из полусвета мобильного в бледном экране, скоро он весь станет лишь отражением. Он, наконец, огляделся – существование навязчиво плотно, стала уже наступать и синюшность рассвета, сыро, и ноги замерзли. Гулкою аркой он прошёл под домом. Рядом толпа – остановка. Кругом одни усреднённые лица – светлые пятна с глазами. Странный мир создал существ, все – лишь движения в слое. Они пришли из своих небогатых квартир, из своих трудностей, чтоб ехать к новым. Может быть, каждый отдельно и есть человек, но вместе – племя чужое. Полуболезненно он улыбнулся, а, впрочем, здесь можно всё, так как всё поймут иначе. Рысью, суча восьминожками из ребордовых колёс, пришёл, скача и стуча, слишком красный трамвай, и все поёрли на зев освещённой двери, внутрь – в чьи-то спины, затылки. Сыплясь, снежинки ему щекотали нос, скулы. Полгода здесь полужимье или уж совсем зима, шесть часов в сутки – один полусвет, а потом стадии ночи. Небо набрякшее, как будто взгляд алкоголика сверху. Переходя через мост, он опять улыбнулся – холодно уточкам в страшной воде на Обводном канале, в прошлом году он им туда бросил шапку. От фонарей кисти рук его тени были как кончики крыльев сутулых пингвинов.

Радостно на голубых освещённых билбордах, они – весеннее утро во мраке. Бред социального мира. Все здесь как будто стремятся к комфорту, но выбирают свою полунущность. Хотя действительных выборов здесь не бывает. Либерализм, то есть волчий закон, где «агнцы» сами волков выбирают. Если взглянуть на историю, то она список обманов. Если б когда-нибудь все они были нормальны, при любом строе здесь было б неплохо. Хочется только держаться подальше. Гладко-лобастыми тварями мчатся машины, а люди в них превратились в смотрящих. Все кругом чьи-то машины; в автомобиле сидит человек, в нём – его глупость, программы.

Если так было задумано – сюрреалистом. Если стандарт их безумен, то трезвый взгляд здесь становится сюрмом.

Как всегда сбегая, как падаю, по эскалатору вниз. Сто к одному из них справа, стоят – им ждать не трудно, да и они не особо стремятся к их целям. Или их взгляд оловянно не верит, или внутри него кружит, чтоб превратить в них самих же. Скользит и катится вниз эскалатор, и убегают назад, и в меня, отблески белых светильников на сероватом «люмине», на чёрном поручне-ленте. После последней ступени идут – потоки прямо-навстречу, каждый из них в своём праве – пройти сквозь них всегда сложно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.